

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

11 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

Е.И. Замятин

Мамай

По вечерам и по ночам – домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несётся корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И, конечно, в каютах не жильцы: там – пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все – граждане осаждённой ночным океаном шестиэтажной республики.

Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне – гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами ещё прибывало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу, – регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан очками.

Вот – очки на кончике носа, как у строгого педагога: это Петру Петровичу Мамаю.

– Вас, Петр Петрович, супруга дожидает обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?

Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого – на автомобиле. С носатым – очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» – будто неловко. Как бы это так, чтобы оно...

– А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник... затруднительная...

И, наконец – очки навверх, на лоб: на борт корабля «ступал» Елисей Елисеич.

– Ну, слава Богу! Благополучно? В шубе-то вы, не боитесь – снимут?

Позвольте – обтряхну...

Елисей Елисеич – капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич – один из тех сумрачных Атласов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.

Сегодня карниз был, явно, ещё тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:

– По всем квартирам... Скорее... На собрание... В клуб...

– Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что... затруднительное?

Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери – был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути ко рту останавливалась ложка с супом.

Суп ел Пётр Петрович Мамай. Или точнее: его строжайше кормила супруга. Восседавая на кресле величественно, милостиво, многогрудно, буддоподобно – она кормила земного человечка созданным ею супом:

– Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой...

– Ну, Аленька – ну, я сейчас – ну, сейчас... Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича – шестое издание! В двенадцатом году при французах всё целиком сторело, и все думали – уцелело только три экземпляра... А вот – четвёртый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашёл...

Мамай 1917 года – завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком – он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.

Ложка супу – жертвоприношение Будде – и снова земной человек суетно забыл о провидении в обручальном кольце – и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против первого издания... С одобрения Ценсурного Комитета»... Ну, до чего приятное, до чего умильное *т* на трёх толстеньких ножках...

– Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты с своей книгой... Оглох, что ли: стучат.

Пётр Петрович – со всех ног в переднюю. В дверях – очки на кончике носа:

– Елисей Елисеич велели – чтоб на собрание. Скорее.

– Ну вот, только за книгу сядешь... Ну, что ещё такое? – у лысенького мальчика в голосе слёзы.

– Не могу знать. А только чтоб скорее... – Дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше...

На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; быть может, где-нибудь в днище – невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то вверху, и вправо, и влево – тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутёмных площадках – потушенные, вполголоса разговоры; и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.

Там – оштукатуренное небо, всё в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шепот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился – слышно было в тишине, как хрустнули плечи – поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:

– Господа. По достоверным сведениям – сегодня ночью обыски.

Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атласа – ливень из табачных туч:

– Нет, позвольте! Мы обязаны...

– Как? И бумажные деньги?

– Елисей Елисеич, я предлагаю, чтобы ворота...

– В книги, самое верное – в книги...

Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживал ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):

– Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?

Осипов палец медленно, среди тишины, пролагал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжёлые мамаевские шкафы с книгами.

– Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.

– Ну вот. Возьмёте револьверы – и в случае, если без ордера...

Каменный корабль № 40 нёсся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьётся ли корабль сквозь ночь к утренней пристани – или пойдёт ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:

– Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же...

– Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной, как пипифакс, а?

Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь

гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбающуюся бабушку.

Земной человек Мамай – стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас – может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать – и так страшно, так невысказано...

– Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос побелел! Нам-то что? Какие такие тысячи у нас?

Бог знает, если бы у Мамаю 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга – может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в уголку заскребла мышью – и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную нору, продолжал:

– У меня... то есть – у нас... Че... четыре тысячи двести.

– Что-о? У тебя-а? Откуда?

– Я... я понемногу все время... Я боялся у тебя каждый раз...

– Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная – я-то думала: уж мой Петенька... Несчастливая!

– Я – для книг...

– Знаю я эти книги в юбках! Молчи!

Десятилетнего Мамаю мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведённого самовара он отвернул кран – вода вытекла, всё распаялось – кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны – и...

И вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран – четыре тысячи двести. Жалостным голосом:

– Мне нынче дежурить во дворе до четырёх утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера...

Мгновенно – вместо молниеносного Будды – много-грудая, сердобольная мать.

– Господи! Да что они – все с ума посошли? Это все Елисей Елисеич. Ты смотри у меня – и в самом деле не вздумай...

– Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то...

И правда: если Мамаю попадала муха в стакан – всегда возьмёт её осторожно, обдует и пустит – лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести...

И снова – Будда:

– Ну, что мне за наказание с тобой! Ну, куда ты теперь денешь эти твои краденые – нет уж, молчи, пожалуйста – краденые, да...

Книги; калоши в передней; пипифакс; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковёр с голубым рыцарем па стене в спальне; полураскрытый мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт с наклеенной маркой и чётко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву... Нет, опасно... И, наконец, около полночи решено все построить на тончайшем психологическом расчёте: будут искать где угодно – только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет, уж пожалуйста – пожалуйста, молчи!») завёрнуты в вощёную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) – и четыре тысячи погребены под квадратиком.

Корабль № 40 – весь как струна, на цыпочках, шёпотом. Окна лихорадочно сверкают в тёмный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне – тёмная тень. Нет, ни зги. Впрочем, ведь там на дворе – двое, и когда начнётся – они дадут знать...

Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами – белые мухи: без конца, без числа – падали, вились роём, падали, обжигались, падали вниз.

Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:

– Я – человек тихий, натурливый, мне затруднительно в этакой во злобе жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю – международное положение – ну прямо невозможное: все друг на дружку – чисто волки. А я так не могу: я человек тихий...

В руках у тихого человека – револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.

– А как же вы, Осип, на японской: убивали?

– Ну, на войне! На войне – известно.

– Ну, а как же штыком-то?

– Да как-как... Оно вроде как в арбуз: сперва туго идёт – корка, а потом – ничего, очень свободно.

У Мамаёя от арбуза – мороз по спине.

– А я бы... Вот хоть бы меня самого сейчас – ни за что!

– Погодите! Приспичит – так и вы...

Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали – длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава Богу: четыре часа, нынче уже не придут. Сейчас смена – и к себе в каюту, спать...

В мамаевской спальне на стене – голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.

На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай – всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид её говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что всё – добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обречённо стоял возле кровати, иззябший, с покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.

– Ну иди уж, иди...

Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути – вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперёд руки – и как в воду с головою – бултых!

Корабль № 40 благополучно пронёсся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани – только до вечера, а там – опять в океан.

Согнувшись, Елисей Елисеич пронёс мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа – и обрушил на Осипа сверху:

– Уж нынче ночью – обыск наверное. Так пусть все и знают.

Но до ночи – ещё жить целый день. И в странном, незнакомом городе – Петрограде – растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже – и так непохоже – на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернуться. Странные, намёрзшие за ночь каменноснежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени – в странных лохмотьях, оружие на верёвочках за плечами. Чужеземный обычай – ходить в гости с ночёвкой: на улицах ночью – вальтер-скоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном – выжженные в снегу капельки крови... Нет, не Петербург!

По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке – снежный *globus hystericus*¹, мучителен каждым шаг.

¹ В буквальном смысле – медицинский термин, обозначающий невротический синдром «комка в горле».

И вдруг подернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках – маки: из окна улыбалась Мамаю – ...

– Эй, зёва, с дороги! – навстречу, напролом краснорожие пёрли с огромными торбами.

Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только пропёрли – снова к окну: оттуда ему улыбалась – ...

«Да, ради этой – и украдёшь, и обманешь, и всё».

Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно – екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь – туда, в тёплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.

Мамай был двадцатипятилетне влюблён. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам – и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работает мышь. Уходил по утрам – и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колот сладким гвоздём: под квадратиком погребено было мамаево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда всё открылось про четыре тысячи двести, – теперь как же?

На четвёртый день, как трепыхающегося воробья – зажав сердце в кулак, Мамай вошёл в ту самую дверь на Загородном. За прилавком – седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала она. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на Черномора.

– А, господин Мамай! Давненько, давненько... У меня для вас кой-что отложено.

Зажав воробья ещё крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиной: за спиной в витрине улыбалась о н а. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай – и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна – и так, будто между прочим:

– Ну, а это сколько?

Ёк – воробей выпорхнул – держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:

– Да что же – для почину... с вас полтора ста.

– Гм... Пожалуй... (Ура! Колокола! Пушки!) – Что же, пожалуй... Завтра принесу деньги и заберу.

Теперь надо через самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пёкся на углях: нужно, нельзя, можно, немислимо, можно, нельзя, нужно...

Всеведущее, милостивое, грозное – провидение в обручальном кольце пило чай.

– Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то... Не спал опять?

– Да. Мы... мыши... не знаю...

– Брось платок, не крути! Что это такое в самом деле!

– Я... я не кручу...

И вот, наконец, выпит стакан: не стакан – бездонная, сорокаведерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.

Мамай тикнул, как часы – перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках – к письменному столу: там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине – ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул – и... отчаянный вопль!

На вопль Будда пригремела из кухни – и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже – скорченный гномик с кинжальчиком, и ещё ниже – мельчайшая бумажная труха.

– Четыре тысячи – мыши... Вон-вон она! Вон!

Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек – и с мечом в угол у двери: в угол забились вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай прогвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.